

Труш. - 1998, - 5 июня, - с. 6

На языке красоты и страданий

Со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки минуло 100 лет

О Федерико Гарсиа Лорке сказано и написано у нас больше, чем о любом испанском поэте двадцатого века. На русском языке первый его сборник вышел в военном 1944 году, через восемь лет после гибели поэта. В сознание русского читателя он вошел как трагедия, как жертва нечеловеческого преступления: близ родного города Гранада на рассвете 19 августа 1936 года он был расстрелян командой фалангистов рядом с учителем и двумя цыганскими бандерильерос. «Они не убивают поэтов», — сказал Федерико, возвращаясь в Гранаду перед самым ее захватом.

У нас лучше других знают, что именно с них и начинают. Этот факт, вызывающий у россиян прямые или подспудные ассоциации с гибелью многих русских гениев (Гумилев, Мандельштам, Клюев), неизменно влияет на понимание его стихов, несколько видоизменяя их суть. Впрочем, если следовать мысли Хорхе Луиса Борхеса, каждый читатель — тот же Пьер Менар, ставший автором «Дон Кихота» одним только актом прочтения великого романа: ведь за время, проходящее между созданием текста и его встречей с читателями, к смыслу сказанного прорастает немало новых смыслов. Хотя для того, чтобы новые смыслы нарастали, надо, чтобы это были произведения Сервантеса и Лорки.

Как большинство крупных испанских поэтов нашего века, Лорка — андалусец. У него был акцент южанина, и он любил говорить, что происходит из «Гранадского царства», что родился «в самом сердце Гранадского Дола». Нет Лорки без слов и понятий, связанных с историей и реалиями этой испанской провинции. Чтобы его

переводить, надо знать не просто испанский язык, а испанский язык Андалусии, видеть не только текст, но и породившее этот текст пространство. Лорка «вещественнее», чем он предстает в некоторых романтизированных клавирах. Это не значит, что он абсолютно прозрачен, исследователи до сих пор расшифровывают некоторые его строки, но этот его магический реализм не от зауми, а от магического устройства хрусталика.

Три года назад с гранадским поэтом Антонио Карвахалем мы ехали из Гранады в крепость Моклин. Кивнув на тянущуюся вдоль дороги масляничную рощу, он спросил, понимаю ли я смысл начальных строк стихотворения Лорки «Пейзаж» (в дословном переводе на русский: «Поле / олив / открывается и закрывается, / как веер»). Все переводчики Лорки «вышли» из четырех переводов Марины Цветаевой, в том числе — дивного перевода этого стихотворения:

*Масляничная равнина
распахивает веер,
запахивает веер.*

То, что я скажу, отнюдь не критика в адрес великой Марины Цветаевой (вот бы ей вместо меня сидеть рядом с Антонио Карвахалем), а объяснение мира Лорки: по мере движения автомобиля перед взглядом то открывались, то закрывались сквозные просеки в симметрично посаженных оливах. Масляничная роща, распахивающая и запахивающая веер, — образ женщины. Масляничная роща, раскрывающаяся и закрывающаяся, как веер, — реальный андалусский пейзаж. А «Неверная жена», на которой «попались» все переводчики (и я в том числе — в первом варианте своего перевода!) В этом романсе цыган, который увел красавицу к реке и, к ее удо-



вольствию, совершил то, что совершил, обижается: дескать, говорила, что невинная (в наших переводах), а на деле — замужем. Неужто опытный парень не знал, с кем он был? Обижается... Это мы, переводчики, не знали, что «mozuela» («девчушка») в Андалусии означает «холостая». Она не говорила, что невинна, она сказала, будучи замужем, что холостая. (Ниже — мой новый перевод это-

го романа, не входивший ни в один из сборников Лорки на русском языке).

Замечательно определил его значение для Испании Дамасо Алонсо: «Тот, кого ждали, кто был необходим, кто должен был быть». Вечно юная вечность — возраст родившегося 5 июня сто лет назад Федерико Гарсиа Лорки.

Павел ГРУШКО.

Федерико ГАРСИА ЛОРКА
(1898–1936)

Из «Цыганского романсеро»
(1924–1927)

Неверная жена

Я думал, она холостая,
когда на берег со мною
она пошла, а выходит,
что был я с мужней женою...
Та ночь была ночь Сант-Яго,
и это не я затеял.
Едва фонари погасли, —
сверчки просверкали в темень.
Ее дремавшие груди

на выходе из селенья
прянули мне в ладони
гроздьями свежей сирени.
Ее крахмальные юбки
меня в тиши оглушали, —
словно бы десять лезвий
скользили по шелковой шали.
Стряхнув серебро, деревья
взмывали в небо, как свечи,
и лаял в тысячу глоток
глухой горизонт в заречье.
Продравшись сквозь ежевику,
сквозь камыш и крушину,
я выемку сделал — и принял
распавшихся кос лавину.
Я галстук снял, а она —

юбки свои и браслеты,
я снял ремень с кобуры,
она — четыре корсета.
Ни раковины, ни нарды
с ее не сравнятся кожей,
так и луна не мерцает
на окнах ночью погожей.
Бедра ее ускользали,
как сплунутые форели, —
то источали мерцанье,
то мертвенно цепенели.
По лучшей в мире дороге
скакал я из ночи в утро
без шпор и удил на крепкой
кобылке из перламутра.
Рассказывать я не стану,

о чем мне она шептала.
По мне, такое мужчинам
выбалтывать не пристало.
Ее от реки увел я
всю в поцелуях и в иле.
Под свежим утренним ветром
кувшинки шапки скрестили.
Я вел себя, как мужчина
из цыганского рода, —
и подарил ей шкатулку,
атласную, цвета меда.
Но только в нее влюбляться
тогда у реки не стал я.
Зачем говорить ей было
замужней — что холостая...